

вершенно освободил ее от реторики и сделал ее национальной: он много *для этого* сделал, но *этого* не сделал, потому что до *этого* было еще далеко. Первым национальным поэтом русским был Пушкин\*; с него начался новый период нашей литературы, еще больше противоположный карамзинскому, нежели этот последний ломоносовскому. Влияние Карамзина до сих пор ощутительно в нашей литературе, и полное освобождение от этого влияния будет великим шагом вперед со стороны русской литературы. Но это не только ни на волос не уменьшает заслуг Карамзина, но, напротив, обнаруживает всю их великость: вредное во влиянии писателя есть запоздалое, отсталое, а чтобы оно владычествовало не в свое время, необходимо, чтобы в свое время оно было новым, живым, прекрасным и великим. <...>

## Николай Алексеевич Полевой

...По словам Пушкина, Карамзин *к счастью* освободил наш язык от чуждого ига. Слово: *к счастью* указывает как бы на случайность, тогда как тут была необходимость, и Карамзин, — или кто бы ни был, лишь бы с такими же способностями, — не мог бы после Ломоносова сделать ничего другого, кроме этого освобождения языка от чуждого ига. Карамзин, разрушив дело Ломоносова, тем самым только продолжал его. Великий реформатор приходит не с тем, чтобы разрушить, а с тем, чтобы создать, разрушая...

Но точно ли Карамзин возвратил свободу нашему языку и обратил его к живым источникам народного слова? Известно, что его прозаический слог делится на две эпохи — доисторическую и историческую, т. е. что слог его «Истории государства

---

\* Нам могут заметить, ссылаясь на собственные наши слова, что не Пушкин, а Крылов; но ведь Крылов был только баснописец-поэт, тогда как трудно было бы таким же образом, одним словом, определить, какой поэт был Пушкин. Поэзия Крылова — поэзия здравого смысла, житейской мудрости, и для нее, скорее, чем для всякой другой поэзии, можно было найти готовое содержание в русской жизни. Притом же, самые лучшие, следовательно, самые народные народные басни свои Крылов написал уже в эпоху деятельности Пушкина и, следовательно, нового движения, которое последний дал русской поэзии.

Российского» резко отличается от слога всех его сочинений, предшествовавших ей. Доисторический слог Карамзина был великим шагом вперед со стороны и языка литературы русской: в этом нет никакого сомнения. Но не менее несомненно и то, что это слог далеко еще не русский, хотя и несравненно более свойственный духу русского языка, нежели слог Ломоносова. Скажем более: не без причины восхищавший современников доисторический слог Карамзина теперь бледен и бесцветен. Он относится к настоящему русскому слогу, как язык новейших латинистов к языку Горация и Тацита. В нем и для иностранца, учащегося по-русски, всё будет просто и легко, потому что иностранец не встретит в нем того, что называется идиотизмами<sup>99</sup>, т. е. чисто русских оборотов, или руссизмов. Исторический же слог Карамзина слишком отзывается искусственною подделкою под язык летописей и слишком не лишен риторического оттенка. Впрочем, всё это мы говорим не для унижения великого подвига Карамзина, а как бы в ответ на слова Пушкина, чтобы показать, что и Карамзин не сделал всего, как не сделал всего Ломоносов, и, что относительно, потомство вправе обвинять и Карамзина в тех же недостатках, в каких обвиняет Пушкин Ломоносова; но что тот и другой — и Ломоносов и Карамзин — оба сделали именно то, что нужно было сделать в их время, и, следовательно, обоим им равно принадлежит вечная честь великого подвига...

Карамзин явился в то самое время, когда направление, данное Ломоносовым литературе, так сказать, истощило само себя и обратилось в застой. В духе этого направления уже ничего нельзя было сделать. В самой литературе обнаружилась ему реакция: язык и самый характер сочинений Фонвизина уже отошли от ломоносовского типа. Позднее Макаров, независимо от Карамзина, начал переводить и писать языком совершенно карамзинским<sup>100</sup>. Нужен был только человек, который по своим интеллектуальным средствам был бы способен завладеть общественным мнением и стать во главе литературного движения. Таким человеком явился Карамзин. Он был для своей эпохи всем: и реформатором, и теоретиком, и практиком, и стихотворцем, и прозаиком, и поэтом, и журналистом, лириком, сказочником, нувеллистом, археологом. Его стихи учились наизусть, его повести, особенно «Бедная Лиза» и «Марфа Посадница», сводили с ума всю публику. И хотя Карамзин несколько не был поэтом, тем не менее этот успех был вполне заслуженный. Его «Письма русского путешественника» познакомили тогдашнее общество с Европою, которая только для высшего слоя его не

была terra incognita \*, — и в этом отношении Карамзин был истинным Колумбом. Письма Фонвизина из Франции<sup>101</sup> были несравненно дельнее «Писем русского путешественника», но они не могли произвести на общество такого влияния, потому что были понятны только для людей, знакомых с состоянием дел в Европе того времени, а всем другим могли сообщить о ней самое превратное понятие. Письма Фонвизина так дельны, что только теперь настало время для их настоящей оценки. Но во времена переходные, в эпохи преобразований, часто бывают нужнее и полезнее те легкие произведения, которые, могущественно увлекая толпу, тотчас умирают, как скоро сделают свое дело. И вот где самая слабая, а вместе с тем и самая важная сторона литературной деятельности Карамзина. Он не принадлежит к числу тех писателей, творения которых всегда свежи и юны, не знают ни старости, ни смерти. Нет, к чему лицемерить! «Бедная Лиза», «Наталья, боярская дочь», «Счастливый Карло», «Марфа Посадница», «Остров Борнгольм» — все эти и другие повести Карамзина для одних теперь дороги только как воспоминание о светлых днях юности, как память о сказочке нянюшки, под рассказ которой когда-то сладко было засыпать; для других они интересны как стародавние костюмы, как факты образования и развития общества во времена давнопрошедшие; но читать их для эстетического наслаждения, читать их как поэтические произведения теперь никто не будет... Еще в то время, когда авторитет Карамзина только стремился к своей апогее, равно как и в то время, когда он достиг ее, появились Крылов, Жуковский и Батюшков — поэты по натуре, люди, призванные давать неувядаемые образцы настоящей поэзии, а не преходящей беллетристики только. Имя Пушкина уже прогремело по всей России, когда умер Карамзин...

Но все это служит не к уменьшению заслуг Карамзина, а к определению рода и характера его литературной деятельности. Если его творения, как говорится, отжили свое время, тем не менее имя его будет всегда знаменито и почтенно, если хотите — бессмертно: его навсегда сохранит не только история литературы, но и благодарная память образованной части народа русского.

Новиков<sup>102</sup> старался распространить в русском обществе охоту к чтению *множеством* книг; Карамзин делал то же самое, но уже *заманчивостью* сочинений. Удивительно ли, что он более Новикова успел в своем деле? Он создал в России многочислен-

---

\* неизвестная земля; неизведанная страна (лат.).

ный в сравнении с прежним класс читателей, создал, можно сказать, нечто вроде публики, потому что образованный им класс читателей получил уже известное направление, известный вкус, следовательно, отличался более или менее характером единства. До Карамзина этого не было на Руси. Его читатели относились к прежним, как относятся люди с гастрономическими замашками к людям, которые без разбору едят всё, что ни поставят перед ними, ничем особенно не услаждаясь, ничем не оскорбляясь. Это был безмерный шаг вперед. Повести Карамзина, извлекая столько слез из очей его нежных читательниц и столько вздохов из груди его чувствительных читателей, несколько не были произведениями поэзии как искусства, как творчества; но тем не менее они были для своего времени прекрасными беллетристическими произведениями человека с большим дарованием. Самая сантиментальность направления вообще всего, написанного Карамзиным, имеет свое великое достоинство: она была необходима, как для своего времени была необходима схоластическая напыщенность Ломоносова. Это было новою ступенью, новым шагом вперед начавшей развиваться литературы. До Карамзина у нас были периодические издания, но не было ни одного журнала: он первый дал нам его. Его «Московский журнал» и «Вестник Европы» были для своего времени явлением удивительным и огромным, особенно если сравнить их не только с бывшими до них, но и с бывшими после них на Руси журналами, до самого «Московского телеграфа»... Какое разнообразие, какая свежесть, какой такт в выборе статей, какое умное, живое передавание политических новостей, столь интересных в то время! Какая по тому времени умная и ловкая критика!

К чему ни обратитесь в нашей литературе — всему начало положено Карамзиным: журналистике, критике, повести-роману, повести исторической, публицизму, изучению истории. Мы не говорим уже о его стихотворстве, имевшем большую цену для своего времени; ни о его «Истории государства Российского», положившей начало дельному, ученому изучению русской истории и давшей для этого возможность. В «Истории государства Российского» — весь Карамзин, со всею огромностью оказанных им России услуг и со всею несостоятельностью на безусловное достоинство в будущем своих творений. Причина этого — повторяем — заключается в роде и характере его литературной деятельности. Если он был велик, то не как художник-поэт, не как мыслитель-писатель, а как практический деятель, призванный проложить дорогу среди непроходимых дебрей,

расчистить арену для будущих деятелей приготовить материалы, чтобы гениальные писатели в разных родах не были остановлены на ходу своим необходимою предварительных работ. Державин был гениальный поэт по своей натуре, но если он не явился таким же по своим творениям, это потому именно, что прежде его был только Ломоносов, а не Карамзин, тогда как для Пушкина было большим счастьем явиться уже на закате дней Карамзина... Это вполне определяет нашу мысль о сущности деятельности и заслуг Карамзина. Он, сказали мы, создал на Руси если еще не публику, то возможность публики, нечто вроде публики: подвиг великий, но для которого требовался не гений, обыкновенно устремляющий все силы свои в одну сторону, на один предмет, а энциклопедический, разнообразный талант.

Сильно было движение, сообщенное нашей литературе Карамзиным. И оно принесло свои плоды. При полном владычестве и очаровании имени Карамзина тихо и незаметно возникало то новое, которое должно было сменить собою карамзинскую эпоху. Но новый дух не сознавал своих прав и охотно подчинялся влиянию Карамзина. Крылов считался не больше, как замечательным *после Дмитриева* баснописцем, и действительно, самобытность его таланта проявлялась только изредка; но большею частью он или подражал в своих баснях Лафонтену<sup>103</sup>, или морализировал в них в пользу и назидание детей. Жуковского, пересадившего романтизм на почву русской литературы, все похваливали, но немногие подозревали его истинное значение. Батюшков, основатель пластически-художественного элемента в русской поэзии, восхищал своих современников совсем не тем, что составляло величайшее достоинство его музыки, родственной музыке эллинской. Все эти люди смотрели на Карамзина, как на своего учителя и хорега; \* все они находились под влиянием его идей. Очевидно, что это была школа, или, лучше сказать, это были школы новые, но переходные и потому нерешительные, из которых ни одна не была в силах стоять в главе движения и руководить им. Всё как будто колебалось между прошедшим и будущим и только ждало человека, который сделал бы решительный шаг. И этот человек не замедлил явиться: то был Пушкин... <...>



\* От греч. χορηγός — руководитель.